

## К ЧЕМУ НАС ВЕДЕТ ФИЛИПНИЯ?

*Е. В. ЗОЛУТУХИНА-АБОЛИНА*

Итак, филипния... Любовь к подозрению. Искусство подозрения. Особое расположение ума, заставляющее человека недоверчиво прищуриться и взглянуть на окружающий мир как на заведомого обманщика, желающего скрыть от нас нечто важное, подлинное, настоящее, ввести нас в заблуждение, да так и оставить в этом заблуждении. Филипния — чужое слово, но знакомое всякому мыслящему человеку состояние, — состояние тревоги по поводу того, правильно ли мы ориентируемся в обстоятельствах, не лишены ли истинности наши впечатления, не беспочвенны ли суждения: «в истине» мы живем или пробавляемся иллюзией, которая в любой момент может закончиться?

Откуда берется это беспокойное чувство? Если исключить патологические случаи подозрительности как проявления психической болезни, то, видимо, «любовь к подозрению» в ее интеллектуальном варианте коренится в самой структуре той реальности, к которой мы принадлежим. Эта реальность не проста. При всей внешней прозрачности эмпирической действительности, при исходной стереотипности и нормативности обыденной жизни почти каждый думающий человек раньше или позже в личном опыте соприкасается со сложностью и многоплановостью мира, с его необъяснимостью и непредсказуемостью. И чем более бурными, хаотичными, непонятными, сбивающими с толку являются повседневность и история, тем больше возникает подозрений насчет того, что за явным находится нечто тайное, за стройным фасадом — неизвестный задний план, за «холстом с нарисованным котелком» то ли дверца со скважиной для золотого ключика, то ли только злые пауки. И не руководит ли всей исторической сумятицей спрятанный за ширмочкой дирижер, которому наперед известно, кто пойдет направо, кто налево, чем все закончится и на чем «сердце успокоится»? Поэтому в разные эпохи филипния в интеллектуальной жизни то отступает, то наступает вновь, «эпохи доверия» сменяются «эпохами подозрения». Доверие доминирует в относительно спокойные периоды, когда структура отношений в обществе достаточно проста, а мировоззрение вписывается в устоявшуюся парадигму; приступ же филипнии начинается в «эпоху перемен» — экономических трансформаций, парадигмальных сдвигов в знании, в век «переоценки ценностей».

И при всем при этом интеллектуальную подозрительность всегда провоцирует не устранимый ни в какую эпоху факт человеческой смертности: «Какие сны приснятся в смертном сне?» (Шекспир).

### К чему нас ведет «любовь к подозрению» в мировоззрении?

Интеллектуальная подозрительность относительно проблем мироустройства в яркой форме проявилась уже в древнеиндийской философии. Именно там эмпирическая реальность была истолкована как завеса, скрывающая подлинное бытие. «Мир майи», колесо сансары, морок перерождений были поняты как внешняя форма, как цветастая обертка подлинной реальности, той, которая, конечно, не может быть непосредственно дана профанам — людям, погруженным в повседневность, но доступна лишь мудрецам, ищущим, йогинам. Действительность явила себя как театр, как неподлинность. Именно такое подозрение, а потом и уверенность в этом звучит как в ведической философии, так и в последующем буддизме. По этому же пути идут и древнегреческие философы, подозревающие, что за множеством вещей есть единое, будь то вода, огонь или апейрон. Подлинный мир не похож на мельтешенье чувственных вещей, он принципиально иной, поэтому в его текучие истины никогда нельзя верить до конца. Обратной стороной подозрения всегда является *разоблачение* — снятие покровов, срывание масок, обнажение того, что можно будет с чистым сердцем счесть истиной и реальностью.

Интеллектуальное подозрение, что «все не так, а иначе», *ведет нас к теоретической мировоззренческой рефлексии, к рождению философии*, которую уже не удовлетворяют мифологические ответы. Так формируется метафизика, создается философская онтология, заглядывающая за занавес обычных человеческих ощущений и восприятий, отпирающая ворота иномирности, в которой нет богов, похожих на людей, а есть головокружительная, ни с чем не сравнимая реальность трансцендентного и лестница миров, ведущих к этому непостижимому инобытию. Подозрение, что все это именно так, умножается в развивающейся философии другими подозрениями, имеющими в виду, что одни авторы правы, а другие — неправы, что опыт и размышления одних из них подлинны, а других — неподлинны, и их следует разоблачить и изобличить как несостоятельные. Но подозрения остаются подозрениями и длятся веками, потому что опыт трансцендентного, на базе которого всегда создавались крупные философские системы, уникален и не может быть механически сравнен с опытом другого человека, как это обстоит в обыденной жизни. Философы по сей день лишь в полном смысле слова подозревают, т.е. предполагают, чем именно «подлинный мир» отличается от чувственного и почему их оппоненты, приводящие собственные аргументы, на самом деле не правы. Но они не могут этого однозначно доказать. Здесь многое упирается в само понимание истины и реальности, потому что в противном случае надо, не упрямясь, согласиться с физиками, которые давно «разоблачили» повседневность, найдя за многообразием ее форм лишь энергетические поля и создающие вещество элементарные частицы.

Тем не менее, подозрения, мучающие философов относительно подлинной реальности, дали в истории мысли как минимум три предположения о ее аутентичной природе: что эта природа разумная и благая, что она – стихийная слепая сила и что она – наша собственная субъективность. Разумеется, принципиально непроверяемые внутри обыденной жизни подозрения, перешедшие в устойчивые убеждения, создали почву для подозрений, направленных на возможных незримых «кукловодов» эмпирического мира: хотят ли они чего-либо от нас или нам это только кажется? И если от материи или даже от мировой воли нечего ждать интриг, хитрых инсинуаций и психологических игр, то «благого Бога» уже надо оправдывать перед лицом мирового зла, да и счет ему можно предъявить немалый... Хотя он и невидим человеческим глазом. Ярким примером «философской подозрительности» является методическое сомнение Р. Декарта, полагающего, что нас могут обманывать даже священные для человека Нового времени истины математики, и видящего сомнительность во всем, кроме наличия самого сомневающегося Я.

Подозрение рождает подозрение, и сфера недоказанного, сомнительного беспредельно расширяется в философии, дразня самолюбие рационалистов и иронизируя по поводу всего несомненного. Оно укачивает на предел человеческих возможностей. Оно настолько сильно, что даже современные философствующие теологи усматривают сомнение в сердце самой веры, что раньше считалось категорически невозможным (П. Тиллих).

Мировоззренческая подозрительность связана, конечно, не только с возникновением философского знания, поскольку ставит под сомнение не только эмпирический мир как таковой. Другим объектом недоверия служит писаная история. Обратим внимание на то, что устная, передаваемая из поколения в поколение история традиционного общества, которая носила вполне мифологический характер, служила в былые времена прекрасным средством самоидентификации. Здесь никто не гнался за точностью фактов, всяк все пересказывал по-своему, и сама мифологичность передачи лежала в основе несомненности того, что делали и совершали «отцы и деды».

С появлением на мировой авансцене писаной истории возник вопрос о «правде» и «неправде», о «было или не было», и рассказ, зафиксированный в письменном тексте, неизбежно попадал под подозрение. Что он собой являет – истину или ложь? Но если он – ложь или хотя бы полуправда, то каковы наши истоки, на что можно опереться, с кем и с кем себя отождествить? В истории как «историческом описании» под сомнение и подозрение попадают не только интерпретации, которые и сегодня могут быть разными, но и сами исторические факты, свидетелей которых не осталось, а это дает высокую степень подозрительности к их подлинности и провоцирует нарушение самоидентификации.

фикации у тех, кто верил в них и идентифицировался с ними. Протест против принятых ранее версий истории, в отношении которых выказано недоверие, вызывает появление шквала иных трактовок, рассмотренных как истинные, т.е. *возвращает нас к множественному толкованию и, таким образом, к новой мифологии*. Филипония вместо исторической истины плодит исторические мифы. Таково следствие активной исторической подозрительности.

### **К чему нас ведет «искусство подозрения» в отношении субъективности?**

Если Р. Декарт в XVII в. усматривал в «я» опору опор, то, что способно устоять перед радикальным недоверием, то современность разрушила и этот «последний бастион». Сам субъект мышления и действия сделался предметом серьезного сомнения.

Впрочем, человеческое «я» попало под подозрение не сегодня и даже не в XX в. История его самоистязаний точно длится уже две с лишним тысячи лет, во всяком случае с тех пор, как в поднимающемся христианстве возникло представление о греховности человеческой природы. Христианское понятие греха, пронизавшего дух и плоть человека, сделало истинно верующих глубоко подозрительными людьми, которые сами для себя раздвоились на светлое и темное начало. Чем нравственнее и святее был человек, тем более подозрительно он относился к собственным желаниям и стремлениям: не таится ли за самыми невинными порывами темная дьявольщина? Не говорят ли в нем бесы вместо его собственного «Я»? Да и как было не подозревать того, кто обладает свободой? Ведь свобода — она свободна творить и добро, и зло. Христианская самоподозрительность, конечно, была особо острой в монашестве, культивирующем «искусство подозрения», стремящемся распознавать в глубинах собственного «Я» темные греховные страсти, даже если они были едва намечены. Это строгое нелицеприятное исследование себя наработало в истории культуры огромный опыт морального самосознания, самоисследования, без которого был бы невозможен теоретический и практический гуманизм последних столетий, не могло бы сформироваться моральное знание. В то же время избыточное и жестокое «самокопательство» было способно не только совершенствовать душу, но и калечить ее, вызывая напрасные самообвинения и острое переживание несовершенства.

Новый приступ самоподозрительности был спровоцирован в XX в. фрейдизмом. Психоаналитическая практика разработала многоплановую и виртуозную «психотехнику подозрения» по отношению к человеческому «Я», подозрительность из инструмента самокритики и вида душевного страдания превратилась в достоинство, а также — как это ни удивительно — в род модного развлечения. Вполне возможно, что в эту технику разоблачения тайных помыслов и скрытых

желаний вылилась личная подозрительность Фрейда по отношению к своим ученикам (в литературе кочует полумифологический эпизод, когда З. Фрейд от огорчения упал в обморок, заподозрив, что его младший соратник К.-Г. Юнг, интересовавшийся индейскими мумиями, на самом деле хочет смерти ему, Фрейду, своему «отцу»). Человеческая субъективность, понятая расширительно, не как самосознательный центр, а как внутренний мир, оказалась многоярусным образованием, подлинной вселенной, где есть вершины и глубины, защитные системы, запертые двери и плотные занавески, и где «маленькому самосознательному я», сидящему на скрытом вулкане, весьма неуютно. Пафос психоанализа состоял в «сдирании одежек» с этой «психологической капусты», в обнажении подлинного, открытии подноготной (и здесь не случайна аналогия с пыточной камерой, где загоняют иголки под ногти).

Психоаналитическое разоблачительство с самого начала выступало как мучительный процесс, где разоблачаемый субъект отчаянно сопротивляется извлекаемой из него неприглядной «истине», хотя речь шла об инсайте правды, которую должен пережить он сам. И постоянно возникал вопрос о том, а истину ли добывает психоаналитик? Подлинно ли то, что открывает о себе в анализе пациент? Здесь был новый сюжет для подозрений. Быть может, психотерапевт решает свою личную проблему, приписывая пациенту несуществующие тайные пороки. В психоанализе все подозревают друг друга: аналитик — пациента, пациент — аналитика (нет ли здесь психологической или обычной корысти?), аналитики — друг друга (нет ли тут трансфера?). Даже когда фрейдовский психоанализ дает позитивные плоды, он остается сферой повышенных подозрений.

Почему же свойственное психоанализу разоблачительство и саморазоблачительство сделалось массовой модой, общепринятым трендом, каковым он и до сих пор остается в США? Возможно потому, что, если в человеке нельзя подозревать «второго и третьего плана», то он чересчур прост. *Подозрение к тайным уголкам своей субъективности стало символом внутренней сложности и личной значимости*, хотя оно уже не имело того морального смысла, который изначально придавало ему христианство. Парадоксальным образом оно стало играть роль самоутверждения: во мне — глубина и стихия...

Особый статус подозрение к самому себе приобрело в экзистенциальном психоанализе Ж.-П. Сартра. Со свойственным ему ригористическим запалом Сартр утверждает пребывание человека в самообмане. Самообман, как известно, состоит, по Сартру, в желании людей приписать происходящее с ними не своей свободе, а другим людям или обстоятельствам, т.е. избавиться от ответственности и чувства вины. Человек категорически не желает принимать на себя груз собственной жизни, он находит поводы отказаться от активных

действий, от последовательного самопроявления, убегает от своей свободы, в хитрость, в бессознательность, в эмоции. Сартр хочет подвигнуть человечество разоблачить само себя, строго с себя спросить, чтобы каждый перешел к полной ясности собственных мотиваций. Конечно, это *утопический проект*, и он остается лишь манифестацией филипонии в области теоретизирования по вопросам человеческого поведения и утверждением идеала абсолютной ответственности. Хотя, несомненно, он не лишен красоты и благородства.

Подозрения в отношении себя так или иначе ведут нас к трем разнонаправленным позициям: *либо к морально-психологическому росту и самоотчетности, либо к бесплодному самомучительству, либо к игре в значительность*: «Как ты можешь понять мою душу, если я сам ее не понимаю?»

### К чему нас ведет филипония в отношении Других?

Подозрение «глубинной психологии» в отношении внутреннего мира субъекта было естественно распространено на фигуру Другого. Если я и в себе-то сразу разобраться не могу, то как мне доверять Другому? Эта тема получила развитие в идеях К.-Г. Юнга об архетипах Тени и Персоны. Согласно Юнгу, Тень как более глубокое основание личного бессознательного есть у каждого, и каждый имеет полное право предполагать в Другом этот темный пласт вытесненных влечений, инфантильных желаний, страхов и стыда. Однако Другой выставляет на обозрение лишь витрину себя — Персону, или Маску. Персона служит для общения, в ней сконцентрированы общепринятые этико-этикетные моменты, которые позволяют людям не вступать в прямые конфликты, не ранить друг друга агрессией страстей. Она адаптирует субъектов друг к другу, хотя, когда она окостеневает, сам индивид уже не может отличить ее от своего «лица». Персона до определенной степени — обманка. Она скрывает того, кто за ней прячется, не выказывая тех изменений, тех превращений, которые происходят с человеком. Разоблачение тайного и скрытого, о котором можно лишь подозревать, происходит лишь когда Маска снята и за ней обнаружен живой, подвижный, хотя и, возможно, совсем несимпатичный внутренний мир Другого.

Пространное размышление на тему Маски как способа притворства, скрывающего агрессию, содержится в работе Элиаса Канетти «Превращение», где он размышляет о реальных масках, функционирующих в культуре, об их участии в осуществлении власти, о возможности двойных масок, что, судя по всему, должно удваивать подозрения. Весьма интересным также является рассказ С. Лема «Маска», где разыгрывается фантастическая драма «снятия масок» с самой себя колдовской машиной, которая выступает в образах разных людей, чтобы обнаружиться, наконец, как орудие в виде змеи, запро-

граммированное на убийство конкретного человека. Кстати сказать, подобная же сцена присутствует в одной из книг о Гарри Поттере, где змея-убийца пользуется как маской телом умершей колдуньи. Таким образом, у нас всегда есть основание, предполагая за внешним внутреннее, видеть их несовпадение, отличать содержание от формы, иногда убеждаться в их фундаментальном различии, свидетельствующем о притворстве и коварстве Другого.

Интересно, что в философии уже упомянутого нами Ж.-П. Сартра само тело Другого, его предметная выраженность выступает своего рода маской, скрывающей его мысли и чувства, его подлинное ко мне отношение. Другой для Сартра загадочен, его отношение ко мне — тайна, я могу подозревать что угодно по поводу его восприятия меня. Я не знаю, как видит меня Другой. Бог весть, что он думает обо мне! И если по Э. Гуссерлю мы можем представить себе внутренний мир Другого, просто мысленно поставив себя на его место, как бы перенесясь внутрь его субъективности (и эту идею наследуют А. Шюц и его феноменологическая социология), то для Сартра, занятого темой свободы, Другой не просто самое чуждое для меня существо, он еще и — вполне возможно! — враждебное мне существо, ибо он свободен как угодно меня оценивать и обо мне судить. Он не просто насыляет на меня отчуждение своим взглядом, видя во мне предмет среди предметов, но еще и дает мне оценки, с которыми я могу вовсе не согласиться. Сартровская концепция коммуникации — это концепция подозрительности, недоверия, вечного вопроса «Что же там, в голове у Другого на самом деле?» Поэтому Другие и оказываются сплошным адом.

Достаточно язвительно и весело такого рода подозрительность по отношению к Другим описывает в своей знаменитой книге «Как стать несчастным без посторонней помощи» Пол Вацлавик. Он показывает, что постоянное недоверие и приписывание Другим негативных мотивов может отравить даже самые лучшие отношения. Об этом говорят также другие авторы-психологи. Если, к примеру, человек не верит той любви, которую проявляют к нему, и все время ищет за ней корыстные расчеты или насмешку, то он вряд ли преуспеет в построении гармоничного союза. Излишняя подозрительность делает индивида, постоянно обеспокоенного тем, не обманывают ли его, не только опасным для других людей, но смешным и нелепым, заставляя, в свою очередь, подозревать у него большие проблемы с самооценкой.

«Искусство подозрения» в отношении Других способно нас вести по двум линиям: одна линия — *здоровая осторожность*, способная обезопасить человека от обмана со стороны мошенников, лживых подхалимов, коварных соблазнительей и симпатичных злодеев. Ничего не попишешь — таких тоже хватает. Чтобы не попадать в их сети,

можно воспользоваться множеством правил и приемов, выработанных здравым смыслом, который советует не отпускать малых детей одних гулять по улицам, не впускать в дом незнакомцев и не пить в поездах и подъездах с кем попало. Другая линия — *патологическая подозрительность*, способная увидеть в любой дружественной и близкой фигуре скрытый обман, злые намерения, жало, направленное против нас. Такая «филипония» крайне разрушительна, она не дает состояться ничему доброму и светлому в отношениях, потому что во всем усматривает «скрытые мотивы». Думается, иногда лучше очароваться и разочароваться, чем постоянно всех подозревать.

И это относится не только к Другим, но в равной степени к миру как таковому. В прекрасной светлой книге Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» есть поучительный эпизод. Дети — герои сказки после страшного сражения, во время которого они вместе с гномами скрывались в хлеву, вдруг оказались в Раю — среди цветов, под голубым небом. Здесь можно было наслаждаться покоем и солнцем, прогуливаться, есть прекрасные плоды. И только гномы — существа, явно пораженные филипонией, не гуляли, не радовались и не отдыхали, хотя веревки, которыми они были связаны, исчезли.

«Они по-прежнему сидели, сгрудившись в кружок, подозрительно озирались и явно чувствовали себя в заточенье и под обстрелом. Гномы были пренеприятные, злые и недоверчивые существа, но детям все равно стало жалко их, и они попытались объяснить гномам, что все плохое кончилось. Они стали приносить им цветы, указывать на свет, даже пытались вытащить из кружка на волю, на травку, но... Гномы продолжали чувствовать себя в подземелье, в грязной вонючей дыре. Даже когда появился бог-лев Аслан и стал сыпать им на колени роскошные яства, они все равно остались при своем. Они кричали, что все их обманывают и видели вместо пирогов, трюфелей и мороженого — старую репу и гнилой капустный лист. Не замечая изобилия, они принялись драться за куски и надавали друг другу тумачков. «Наконец они сели, чтобы привести в порядок кровоточащие носы, и сказали: “Во всяком случае, здесь нет Обманщика. Мы никому не позволим обманывать нас...”

— Вот видите, — промолвил Аслан, — они не позволяют нам помочь им. Они выбрали хитрость вместо веры. Их тюрьма внутри них, и потому они в тюрьме. Они так боятся быть обманутыми, что не могут выйти из нее»<sup>1</sup>.

Чересчур подозрительный человек — в тюрьме, которая находится внутри него. Он так боится предполагаемой угрозы, что не замечает действительных благ. И потому он проходит мимо радости. Мимо реальности, которая, — какова бы она ни была на самом деле, все равно есть прежде всего — радость.



ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Льюис К. Хроники Нарнии. – М., 1991. С. 662.

**Аннотация**

В статье рассматриваются различные теоретические и практические следствия, к которым приводит человека его пребывание в состоянии подозрительности. Автор обращается к области философской теории, к сфере углубленной саморефлексии, практикуемой христианством и психоанализом, а также к отношениям коммуникации, и показывает как позитивные, так и негативные для личности результаты недоверчивого восприятия внешней и внутренней реальности.

**Ключевые слова:** филипония, подозрительность, недоверие, философская рефлексия, самоанализ, маска, Другой, доверие.

**Summary**

The article examines different theoretical and practical consequences of the human suspiciousness. It touches upon the sphere of deep self-reflexion, practised in christianity and psycho-analysis as a region of philosophical theory, and upon the sphere of communicative relations. It shows the results of suspicious perception of outward and inward reality, both positive and negative for the person.

**Keywords:** philypoia, suspiciousness, distrust, philosophical refection, self-analysis, mask, Other, confidence.